# Мы дерзали, мы дерзали, или Дворец и Храм

Юрий Колкер

SHOUT
SHARE
IT

- 1. КАЛЛИОПА
- 2. ТЕРПСИХОРА
- 3. ТАЛИЯ
- 4. ЕВТЕРПА
- 5. ПОЛИГИМНИЯ
- 6. КЛИО
- 7. ЭРАТО
- 8. МЕЛЬПОМЕНА
- 9. УРАНИЯ


***Юрий Колкер***

# *МЫ ДЕРЗАЛИ, МЫ ДЕРЗАЛИ…*

# *ИЛИ*

# *ДВОРЕЦ И ХРАМ*

***(2006)***

***Мы писали, мы писали,***
***Наши пальчики устали!***

# 1. КАЛЛИОПА

Официальная литература казалась мертвой, как птица дронт, но я всё же вступил в ее роскошные пропилеи: поздней осенью 1960 года, в возрасте четырнадцати лет, записался (затесался) в поэтический кружок при ленинградском дворце пионеров. К этому времени я сочинял уже девять лет.

***Юрий Колкер, 1960, со школьного снимка учеников 7Б 121 школы Выборгского района Ленинграда***

Трудность для меня состояла в том, что этот очаг культуры находился далеко: в центре города, в Аничковом дворце. Ездил я туда редко. Путь с окраины, с дороги в Гражданку, потом ставшей Гражданским проспектом, был тягостный. Трамвай девятка тащился битый час, и до него еще нужно было дойти. В трамвае я читал Блока. *Ночную фиалку* выучил наизусть.

Смутно вижу теперь эти мраморные дворцовые лестницы, этот зал, где мы занимались: длинный стол красного дерева,

стулья с высокими резными спинками. Характерный момент: я ни разу не спросил себя, кто сидел за этим столом прежде? Настоящие владельцы обитали тут до новой эры. А ведь это были царские апартаменты.

Во дворце я ни с кем не подружился. Мешала застенчивость, чувство сложносоставное, сложносочиненное, немыслимое без честолюбия. Преобладали во дворце подростки из семей интеллигенции. Они всё знали со слуха, всё прочли. Рядом с ними я чувствовал себя невеждой, сиротой, беспризорником. Возвращался обычно в подавленном состоянии. Дома, на моей окраине, опереться было не на что, не на кого. Не было ни книг, ни наставников.

Помимо стихотворных семинаров были во дворце еще «встречи с интересными людьми». Я не присутствовал ни на одной. Помню, прибегает какая-то тетенька к концу нашего занятия и говорит ошеломляющие слова: не забудьте, такого-то числа придет философ. У меня голова пошла кругом: философа нашли! В наши дни! Мне представился седой эремит с суковатым посохом, тычущий в нас пророческим перстом. Оказалось, дело проще: ожидался студент философского факультета. Я и не подозревал, что философ — специальность, что можно получить специальность философа, диплом философа.

Выделялся в кружке Миша Гурвич. Точнее, он, по-моему, совсем не выделялся, но с ним носились, и, кажется, даже не наша руководительница носилась, а вот именно какие-то другие тетеньки, ведавшие другими кружками. Он у них был свой. Стихи читал такие:

***Очень надо, очень надо***
***мне увидеть напрямик*** [за эту строчку не поручусь],
***как слонов несется стадо,***
***издавая трубный крик.***

Я поражался: что тут от поэзии? Чем восхищаются? Они что, Блока не прочли? А восхищались тетеньки вот чем: ребенок вел себя как ребенок, притом любознательный. О любви в 14 лет не писал, как некоторые. Мистикой не увлекался. Много позже Гурвич поменял фамилию, стал Ясновым.

Были еще Тиль (псевдоним Николая Беляка), Виктор Топоров, Нина Полякова, некто Волькинштейн. В семнадцать, уже студентом, я ненадолго сошелся с Андреем Балабухой и Виктором Сидоровым, тоже дворцовскими сочинителями, но вижу их не в Аничковом дворце, момент знакомства из памяти ускользнул, а в другом месте: в «кафе поэтов» при доме культуры

Ильича на Московском проспекте. Странное было заведение. Называлось *Электрон*, и при нем был клуб поэтов *Данко*. На словах полагалось гореть, дерзать, за порогом же всех этих назывных дерзаний начиналась жизнь, главной отличительной чертой которой была убогая провинциальность. Мальчишкой я чувствовал, хоть и не мог понять, в чем тут дело: страна самой передовой в мире идеологии совершенно явственно была обочиной мира, задворками цивилизации.

Не все дворцовские происходили из профессорских семей. Рядом с Таней Котович и я мог сойти за барчука-интеллигента. Наша руководительница считала Таню самой талантливой. Внушение ли тут или я пришел к этому самостоятельно, а только стихи Тани Котович я полюбил навсегда. Был ее оппонентом на обсуждении во дворце. До сих пор держу в памяти обрывки ее стихов той поры: о Назыме Хикмете, турецком поэте-коммунисте, осевшем в Москве («Сквозь километры годов и зим ... к тебе, Назым»), о Ленинграде («В магазине сыро и грязно, и пахнет всем сразу»).

С Таней Котович я не то что не подружился, а и не говорил ни разу — не только во дворце, а вообще никогда, хоть мы и потом встречались в литературных местах. В 1966 году случайно увидел ее стихи в *Дне поэзии* — целых шесть стихотворений, столько же, сколько у тогдашнего начальника ленинградской поэзии Александра Прокофьева. Решил, что она пробилась. Но она не пробилась. В начале 1970-х появлялась изредка в литературном кружке Кушнера при фабрике *Большевичка* (жила рядом; клуб фабрики находился на углу Воронежской и Тюшина), работала чуть ли не грузчицей, и чувствовалось, что пьет... В 1980-х, уже в эмиграции, я напечатал подборку ее стихов в парижском *Континенте*. В 1994 году, приехав в Петербург, искал ее через справочное и знакомых — и не нашел.

# 2. ТЕРПСИХОРА

Руководительницу во дворце пионеров звали Наталья Иосифовна Грудинина. Поэтесса, член союза писателей, то есть почти небожительница, — она казалась мне старухой, а было ей, вероятно, сорок с небольшим. Грубые коронки на передних зубах, яркая помада. Курила много и неопрятно, прямо на занятиях во дворце. Окурки складывала на бумажку, положенную на зеленое сукно стола (и я тупел от отвращения, от табачного дыма и вида окурков). Конченый человек! Худая, черноволосая, с сединой, с усиками над верхней губой, всегда чему-то громко смеющаяся. Чему?! Для нее всё кончено. Люди так долго не живут. Сгусток энергии и оптимизма. Не любить ее было невозможно. Ругала нас на чем свет стоит, но и льстила. «Ты очень талантлив!», заявила мне при второй встрече, возвращая тетрадку с моей поэмой *Последний день* (я переложил стихами, и с отсебятиной, повесть Гюго *Последний день приговоренного к смерти*). Потом я догадался, что эти слова она говорила всем кружковцам. Но такова была прелюдия к критике. В моем случае критика началась словами:

— Если б мы жили в девятнадцатом веке, я бы сказала: сразу в печать! Но теперь — так писать нельзя.

Верно, современных поэтов я не читал. Какие поэты в советское время?! А Блок — он, в каком-то смысле, принадлежал прошлому веку.

Я талантлив! И, значит, — на пороге признания...

— Введите меня в литературные круги! — взмолился я. Мне уже рисовался салон Зинаиды Гиппиус или Жюли Рекомье. Грудинина ответила странно:

— Их нет! Ввела бы с удовольствием, если б были...

И я поверил. Вспомнил, что живу при Советах.

Стихи в кружке читали энергичные. Была сатира на ссору в коммуналке из-за кухонной лампочки.

***Пошли ругаться, препираться.***
***А лампа стоит рубль двадцать.***

И еще про лампочку; уж не знаю, того же ли автора, или гражданственное неприятие мещанства у кружковцев шло преимущественно через электричество:

***Сидели гости, ели щучье тело.***
***Взяла стоватка — и перегорела!***

Мне тут почему-то Топоров припоминается, но не исключаю, что он был критиком этих стихов, а не их автором. Этот советский юноша казался мне взрослым, сорокалетним. Ему и дальше всегда было сорок лет — до самого начала XXI века, когда я вдруг увидел перед собою пожилого раввина.

Вообще обличительные стихи во дворце преобладали; или, может быть, только они мне запомнились — потому что не вязались с моим представлением о поэзии. Например, какие-то плохие люди «...величие личностей, как монеты, швыряли на стол», и поэт (кажется, Волькинштейн) говорил им:

***Да, Пастернака нет, нет Лорки —***
***Есть пастернако-лорковеды!***

Про Гарсиа-Лорку (его все называли Лоркой; называют и сейчас) я услышал впервые. Пастернака не читал ни строчки, знал смутно, что он «предал нас» — осрамил перед Западом наше самое передовое в мире отечество. О том, что сопоставление этих двух имен — политический выпад, я догадался не сразу. Грудинина помогла. Она орала на автора:

— Ты что пишешь?! Лорку — фашисты убили, а Пастернак умер в своей постели. — (Эта формула была у всех на устах, Галич ее только подхватил.) Честная была коммунистка Наталья Иосифовна. Несколько лет спустя Бродского защищала. Верила в социализм с человеческим лицом.

Что есть пастернаковеды, лорковеды — тоже было для меня открытием, и пренеприятным. Что это за наука такая?! Разве это не мелко? Литературу ведь и так можно и нужно знать. Нет, я пойду в физики.

Грудинина охотно принимала у себя дома, на Охте. Звала приезжать, любила молодежь. Мужа ее я никогда не видел. Детей (взрослых) не помню. Всё это было как-то дико: у поэтессы — муж, да еще инженер; и — дети. К чему бы? Как тут быть поэтом? И еще: как можно было в Грудининой хоть на минуту женщину увидеть?

— ...а я ей говорю: бросай всех своих мужей и любовников — и садись стихи писать! — хохоча взахлеб, рассказывала мне Грудинина о какой-то своей подопечной, из начинающих, но постарше меня. Я слушал и не понимал. Мысли опять шли в том же направлении. Как это можно совместить: семью и стихи? Что за дикость! Стихи — дело молодых, свободных. Что может чувствовать — как может любить и писать в рифму — человек, занятый поварешками?!

Были у меня стихи:

***Лежу я посередке***
***и ноги протянул,***
***а мальчики в пилотках***
***приветствуют весну.***
***Мне уже не страшно.***
***Я свое сказал.***
***У всех моих наташек***
***грустные глаза.***

Дальше шел долгий период в том же заунывном духе, а кончалось:

***Весна — забота ваша,***
***а я своё сказал.***
***У всех моих наташек —***
***весёлые глаза.***

Наставница притворно обиделась.

— Как ты моим именем распорядился!

Может, и в самом деле была немножко задета. Что имя Наташа станет в иных местах нарицательным, в ту пору не предвиделось. Или уже угадывалось?

Я ревновал. Мне было неприятно, когда не всё свое внимание Грудинина отдавала мне. Не в кружке, конечно, — у нее дома. А я редко оказывался там один.

Как-то приходят два подростка чуть старше меня — помятые, кудлатые и чуть ли не выпившие, из тех (мне подумалось), что я в подворотнях встречал. Видом почти шпана. Оба немедленно закурили, чего я не выносил (Грудининой, сжимаясь в комок, прощал). Стихи у них были совсем не про стадо слонов.

Первый прочел балладу: двое идут в пустыне, еды в обрез, и вот утром выясняется, что дневная норма на двоих кем-то съедена. Следует расплата: «Меня, меня это били в морду...». Что в этих стихах присутствовал Николай Тихонов, я и подумать не мог, не слыхал про такого поэта, оттого и стихи эти показались мне необычайно оригинальными, понравились и запомнились своей суровой жизненной правдой, опрокинутой на лирического героя.

Второй читал задушевное: «Последнюю спичку бросаю в город...». Этому Грудинина кричала (она вообще всегда кричала):

— Ты что, поджигатель, что ли?! — Кричала, по обыкновению, со смехом. Видно было, что довольна, хоть и не

стихами. Любила дерзость. Сама в те годы писала вот как:

***Ненавижу врача, что не лечит больного,***
***Ненавижу невесту, не верную слову,***
***Ненавижу собак, что рычат на хозяев,***
***Ненавижу талант, что рискнуть не дерзает.***
***Ненавижу всё то, в чем позор отреченья,***
***Всё, что смеет не знать своего назначенья.***

Ненависть была в ту пору у всех в чести. Добро должно быть с кулаками. Помню стихотворное рассуждение Грудининой об угасающем таланте стихотворца, этакую аллегорию с ручьем в качестве лирического героя; ручей сбегал с гор «и в раннем торжестве поил людей и диких коз на бархатной траве», а потом пересыхал… или, может, не людей он поил, а цветы; память меня подводит; скорее уж цветы или траву, а до людей-то как раз не дотягивал… Еще сохранился в памяти обломок ее дидактического стихотворения о Чехии, где она побывала. Молодая мать с коляской переходит дорогу — и, не чудо ли, движение на улице останавливается, не то что в первом государстве рабочих и крестьян. Она же принимает это как должное —

***И посматривает строго —***
***Что же может быть важнее,***
***Чем ребенок на дороге!***

Нет, двое гостей в тот вечер — это были Сергей Стратановский и Виктор Кривулин — писали иначе. В талант первого я поверил, верю и сейчас, в талант второго — не поверил ни тогда, ни позже.

О Бродском Грудинина говорила: «Слабый поэт, но хороший переводчик». Любила стихи Виктора Максимова, молодого человека, недавно вернувшегося из армии и уже издавшего первую книгу — в 25 лет! Что́ это тогда значило, сейчас не объяснить. Помню кое-что из этого автора:

***Пришла нежданная беда,***
***извечная, как жили-были.***
***На кухне капает вода —***
***ее вчера закрыть забыли.***

И еще — про Лету: «И тысячи речек впадают в нее, но только не Черная речка…». Но Максимов появился около Грудининой позже, не в 1960-м.

# 3. ТАЛИЯ

При дворце существовал клуб *Дерзание*. Что названье — очень буржуазное, даже буржуазно-декадентское, никто почему-то не чувствовал. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...» Прямо *Бродячая собака* с фармацевтами в качестве слушателей, обожающими, когда их эпатируют. Что названье глупое, ничему не соответствующее, это, кажется, всем было ясно. Еще недавно людей сажали за обмолвку, за описку, а тут — дерзость!

Помню только одно людное сборище с чтением стихов, где и я читал; вероятно, в 1963-м (я уже был студентом). В ту пору я на одну горькую минуту увлекся Маяковским; читал такое:

***... котенок играет с луной на полу,***
***луну на подносе подносят к столу,***
***луна в сковородке шипит на плите,***
***луна расплылась на чертежном листе...***

***Не хочу, чтоб мне снились такие сны!***
***Комом в горле стоит строка мне.***
***Товарищи! Ловите осколки луны —***
***это я в нее бросил камнем.***

После того, как все отчитались, меня, между прочими, пожурил представительный мужчина с бородкой. Он с чувством процитировал Маяковского: «Врали: народа — свобода, вперед, эпоха, заря...», выждал секунду и веско добавил:

— А рифмуется с коротеньким словечком: «И — зря!»

Слышу это, как если бы вчера слышал, а в чем тут мораль, забыл.

Председательницей клуба от нас, «детей», состояла Нина Полякова, старше меня на год. Она выправила мне членский билет — и подписала его. До этого я не видывал подписей моих сверстников на документах. Из ее стихов помню строчку «Нева, ты снова строга, как мама...» и рифму «Таллина — проталина». Дворцовских вундеркиндов, еще до моего появления, возили на автобусе в Таллин, на экскурсию. Это — из ее отклика на поездку.

Нина была невысокая, полная, с лицом несколько тяжеловатым. Имела склонность к дидактике, со мною поначалу говорила чуть-чуть свысока, как с младшим, провинциалом (я жил на окраине) и недоучкой. Вскоре, однако ж, у нас завязался детский роман. Нина хотела казаться взрослой: рассказала о

своих прежних увлечениях с поцелуями, о поклонниках дворцовских и не дворцовских. Ухаживал за нею, например, некто Либер. Этого — литературная дама! — она отшила словами: «Помните, что Lieber вы только по фамилии!» (в школе учила немецкий). Я не мог не восхищаться. Не так ли и говорят в литературных салонах? Этим и дорожил в ней, только этим.

— За мной обычно ухаживают евреи, — сказала как-то она. — Почему-то считают меня еврейкой.

Я рот раскрыл от изумления:

— Как?! Ведь ты — Полякова! Неужели неясно, что русская?

Дикое невежество. Видно, что учился я на медные деньги. Она, однако ж, и сама могла не знать. Отца при ней не было.

# 4. ЕВТЕРПА

Грудинина требовала, чтобы я начал читать современных поэтов. Я отнекивался. Незадолго перед тем школьная учительница литературы, добрая Ася Яковлевна, принесла мне на прочтение оригинальное издание *В безбрежности* Бальмонта. Спасибо ей, никогда не забуду. Кажется, не только я, но и она произносила фамилию поэта с ударением на первом слоге.

Что тут со мною началось! Я парил. Я с ума сходил — и было, от чего. После стихотворной туфты советских газет — такое:

***Я мечтою ловил уходящие тени,***
***Уходящие тени погасавшего дня,***
***Я на башню всходил, и дрожали ступени,***
***И дрожали ступени под ногой у меня…***

Грудинина назвала эти стихи Бальмонта программными — и разругала их. Я отказывался понимать. Нехотя взял книжку Заболоцкого *Стихотворения*, 1958 года издания (она и сейчас со мною; я пытался вернуть, да Грудинина не поняла моих намерений). Нет, не поверил я наставнице. Вышел от нее — и опять окунулся в эти ошеломляющие анапесты Бальмонта. И в его же ямбы. «Я верую во власть и чару Змея…» Это было чудо.

# 5. ПОЛИГИМНИЯ

Было еще одно чудо. Точнее, его в моей жизни как раз не было. Был шанс напечататься. Издавался сборник дворцовских стихотворцев. Когда я попал к Грудининой, он уже был собран и готовился к печати, отдан куда-то туда, к гутенбергу. Грудинина сказала, что можно попробовать втиснуть в этот сборник мои стихи (я сделал стойку), только не те, что уже написаны, а новые, написанные специально для сборника (тут я поник). Нужно написать стихи бодрые, жизнерадостные, лучше всего — о созидательном труде простого человека.

Легко вообразить мои тогдашние чувства. Вдохновение было благодатью небесной, интимнейшим озарением, пророческим даром. Даже дворцовская критика унижала и профанировала его создания. А тут — стихи на заказ! Однако ж они означали славу. Мое имя будет набрано типографским шрифтом. Мир услышит нового поэта.

Я смалодушничал: принялся сочинять стихи про трудолюбивого садовника. О прямом пролетариате — и подумать не мог, завод казался мне преисподней. Мучился страшно, вымучивал и вымучил из себя нечто жалкое; помнится, анапестом. Вручая текст Грудининой, чувствовал себя оплеванным. Но оказалось, что это еще не последнее унижение. Она, добрая душа, прямо на месте начала этот мой текст править, доводить! И что? Не вынесла душа поэта? Вынесла. Самый смысл поэтического творчества растаптывали на моих детских глазах. Атилла осквернял треножник Аполлона. Я спорил, упирался. Не плакал только из гордости. Гордости, однако ж, не хватило на то, чтобы вовсе прекратить это безобразие. Состряпали что-то коллективное, не имеющее ко мне уже никакого отношения, так что даже имя мое над текстом сгорало от стыда. С этим палимпсестом Грудинина отправила меня к некому Вольту Суслову. В какое место, память не откликается, а чудится, что в Смольный. Кто знает лучше, поправит.

— Вкусу Натальи Иосифовны я доверяю на все сто пятьдесят процентов! — сказал мне смольный Вольт Николаевич, когда я до него добрался. Стихи взял — и не напечатал, спасибо ему.

Никогда больше судьба не сводила меня с Вольтом, ни строки его сочинения я не прочел, но спустя три года он стал для меня сильнейшим переживанием. Из случайной обмолвки моей одноклассницы, семнадцатилетней О., я вдруг увидел, что он — ее любовник (ему было в ту пору никак не меньше 37-и). Понял я

эту обмолвку с опозданием, да и за свою догадку голову на отсеченье не дам, мог ошибиться, но зато уж переживание было подлинным. Интерес моих сверстниц к старшим казался мне гадостью, наоборот, О. казалась, что называется, чистой девочкой, и — точно была самой интеллигентной в классе, даже соперничала со мною за имя первого ученика.

# 6. КЛИО

Книжку Заболоцкого, полученную от Грудининой, я прочел через силу, «бескрайности» не обнаружил. Подростку в ней было тесно. Помню, носил ее с собою на уроки, расхаживал с нею на переменах — по дощатому полу четвертого этажа моей скифской 121-й школы на Большой Спасской (потом ставшей проспектом Непокоренных).

В восьмом классе нужно было уже думать о получении высшего образования. На уме были стихи, но и математикой я увлекался. Мать уламывала меня не смотреть в сторону университета, не думать о филологии или истории. «Дважды два всегда будет четыре», — твердила она, — а тут всё от установок зависит...» Возражать было трудно. Грудинина звонила моей матери, переубеждала, но переубедить не смогла. Я и сам в себя не верил. Мать еще тем пугала, что я стану школьным учителем, а я твердо знал: преподавать не смогу, лучше уж в дворники пойду (второй напрочь закрытой для меня профессией была медицина). Наконец, и армия служила пугалом. Из университета, с гуманитарных факультетов, в армию брали, из политехнического (а он был под боком, в двух шагах) — нет.

Мать пустила в ход и тот довод, что я пишу с ошибками. Он и склонил чашу вестов. Этим своим недостатком я всерьез мучился. Разве не должен писатель быть безусловно грамотным? По всем предметам я легко получал пятерки (не в последнюю очередь потому, что уровень школы был низок), по русскому языку — случались четверки. Могли бы и тройки быть. При обсуждении моих стихов во дворце меня критиковали за безвкусный троп в строке «Мы день и ночь шлейфуем зеркала», но это был не троп, а грамматическая ошибка.

Жизнь вообще подталкивала к компромиссу, к конформизму. Я твердо знал: с моей фамилией в литературу не пустят. Оттуда знал? Никто мне этого не говорил. Грудинина и дворцовские тетеньки антисемитизм отрицали. Помню, с каким пылом возражал одной из них Миша Гурвич: «Мне -дцать лет, и я езжу в трамваях!»

Национальный вопрос всё еще оставался для меня мучительным. Я никак не мог решить, русский я или еврей. В евреи идти не хотелось. Из детства, из послевоенного двора на Петроградской, я вынес стихийный антисемитизм. Это в воздухе висело: русский — хорошо, еврей — плохо. Дома же слово *еврей* не произносилось. Что я — из евреев, мне объяснили сверстники

в восемь лет.

У меня, при начале общения с Грудининой, мелькнула мысль, что мы с нею одной крови, но спрашивать я не стал. Этот вопрос был сплошной болью, открытым нервом. Потом она как-то без всякого повода рассказала мне, что она чернявая в бабку-цыганку, а я про себя отметил не без удовлетворения, что сам-то я — белокурая бестия.

Для тогдашней улицы — в евреях ходили решительно все носители нерусских фамилий. Не был и исключением и Вадим Шефнер, в ту пору уже прозаик. В годы «борьбы с космополитизмом» ему, еще поэту, досталось наравне с евреями (он дружил с Гитовичем и Владимиром Лифшицем). С конца 1950-х болевой точкой общества, вместе с антисемитизмом, становится ожидание новой войны. Страх владел даже людьми думающими; у иных — удержался на десятилетия (сейчас невероятно забавно наблюдать его в сочинениях 1970-х). Страх шел сверху: большевики догадывались, что еще одной войны не выиграют; знали, что ту выиграли — только благодаря союзникам (а народу внушали, что союзники ничего не сделали; «вторым фронтом» называли пятый по счету). Боялись все; но и шутили: «войны не будет, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». Повторяли слова Эйнштейна: «Не знаю, какое оружие будет в третьей мировой войне, но в четвертой — лук и стрелы». В один из моих приездов к Грудининой она прочла мне «только что написанное» стихотворение Вадима Шефнера, где были строки:

***Милосердие, милосердие!***
***Это слово древней войны.***

Мне стихи показались жалкими, стариковскими. Зачем вообще прозаик стихи пишет?

Сама Грудинина как раз тогда тоже написала что-то антивоенное и — что меня совершенно потрясло — *продиктовала* стихотворение по телефону в Литературную газету. Для меня авторская рукопись оставалась святыней (а звонок в Москву казался непозволительным расточительством).

В другой мой приезд Грудинина показала мне недавно полученную из Парижа книгу Рене Шара.

— Французы возвращаются к традиционному стиху! После всех изысков! — с жаром сказала она. Сама — писала традиционным (слишком традиционным) стихом; знала, что у меня маяковщина зубовный скрежет вызывает (дело было в 1961-м, до моего недолгого помрачения), и вот поделилась.

Мне было пятнадцать лет. Я подумал вслух:

— Может, мне суждено способствовать тому же в России!

Добрая женщина не стала возражать, наоборот, обнадежила меня.

# 7. ЭРАТО

Во Дворце пионеров предлагали написать сочинение, дававшее какие-то льготы в будущем — то ли засчитывавшееся как сочинение на выпускном экзамене, то ли увеличивавшее шансы поступления в университет. Я заинтересовался, но чувствовал себя неуверенно. Спросил одного из бывалых кружковцев:

— В каком духе следует писать такое сочинение?

Тот немедленно поставил меня на место:

— Я думаю, в духе исследования.

***Юрий Колкер, ученик 8Б 121-й школы выборгского района Ленинграда, 1961***

Писать я собирался, естественно, о символизме. На пожелтевшем листке сохранился план:

«1. Символизм открыл для русской публики творчество Бодлера, Верлена, Малларме.

2. Символизм — новый шаг вперед на пути развития русского литературного языка.

3. Символизм вносит в русский стихотворный язык исключительную музыкальность, легкость, необычайное совершенство передачи оттенков чувств, смелость в использовании художественных приемов и разнообразие изобразительных средств.

4. Символизму свойственно «настроение смутности» (Волков), нечеткость или незавершенность зарисовки предметов и деталей реального мира. "Мы должны разработать широкие лозунги символизма: должны превратить платформу в теорию; то, что мы читаем у Ницше, Уайльда, Реми де Гурмона и Танкреда де Визана, что узнаем про теорию Малларме, еще не есть защита символизма; если мы дорожим серьезностью этой платформы, мы должны углубить поднятые вопросы..." (А. Белый. Теория, или старая баба. Весы, 1908, №4) "Все великие творческие души одинаково безразлично презирали толпу, одинаково были аристократически замкнуты, одинаково являли высший тип существ сравнительно с типом среднего человека..." (Эллис)...»

Моя тема одобрена не была. Не показалась достаточно дерзкой. Сочинения я так и не написал.

# 8. МЕЛЬПОМЕНА

В 1963 году с дворцовскими мальчиками, моими минутными друзьями Витей Сидоровым и Славой Ефимовым (второго давно нет в живых), мы задумали странное предприятие: рукописный журнал. Кажется, инициатива исходила от Сидорова. Сло́ва *самиздат* на слуху не было, идеи самиздата — тоже; пишущая машинка представлялась недостижимой, как земля обетованная. Что нам мерещилось? Как размножать и распространять? Я думал: распространять — по школам. Того, что мы с огнем играем; что в тюрьму можно угодить, мы не сознавали. Твердо видели одно: в официальную литературу — не пущают; да и скучна она неимоверно. А жить и не писать — нельзя.

Съехались на улице Куйбышева, в квартире Ефимова, каждый со своей программой. Я написал свою в духе манифестов серебряного века. Журнал предлагал назвать — *Вега* (поскольку это звезда из созвездия Лиры, должно быть). Эти двое написали что-то восторженно ребяческое, как мне показалось, чуть ли не с пионерским энтузиазмом. Моя программа успеха не имела. Название мое тут же было прихлопнуто сообщением, что *Вега* — сорт сигарет. Я поперхнулся от отвращения. Предприятие не сдвинулось с мертвой точки. Компания распалась.

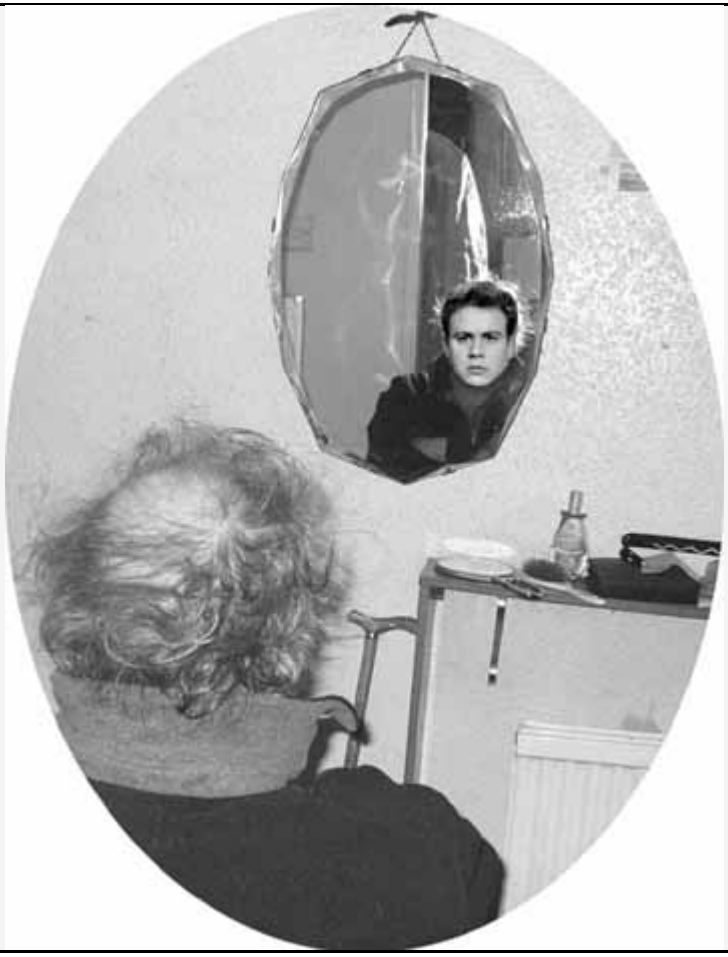
Стихов Сидорова не помню. В 1972 году случай свел нас, и мы поспорили о недавно уехавшем Бродском, которого он называл предателем и чуть ли не фашистом, а я защищал. Год был для меня знаменательный: меня впервые напечатали в литературном журнале — правда, уж больно далеко от дома, в Алма-Ате. Журнал назывался *Простор*.

Потом, как я слышал, Сидоров окончил высшую партийную школу и деканствовал на факультете журналистики в университете. От юношеских стихов Ефимова у меня в памяти сохранилось (без рифм) печальное зарифмованное рассуждение: о том, как тяжело карабкаться на Парнас. На мое место, сетовал автор, в русской поэзии претендуют еще человек сорок. Сорок ли? Сейчас можно прикинуть. По недавней оценке, которой я верю, стихи по-русски сносно пишут около пятнадцати тысяч человек. Армия поэтов, как сказал Мандельштам. Для того, кто сам не пишет, эти авторы различаются разве что степенью известности, а так все они — профессионалы и мастера. Примем, что поколение в литературе — десять лет. Пусть имеется пять поколений; тогда на поколение приходится 3000 стихотворцев. А в памяти поколения — более двадцати имен никак задержаться не может.

Выходит: 150 человек на место. На самом же деле — и того больше; эта схема переупрощена. Но и 40 казалось цифрой ужасной, удручающей. Как тут не приуныть?

# 9. УРАНИЯ

В 1968-м и 1970-м, уже молодым специалистом, я дважды приезжал к Грудининой домой с большими подборками стихов. У подборок даже названия были: «Первое чтение», «Второе чтение». Доверие к бывшей руководительнице, к ее литературному вкусу, давно у меня пошатнулось, но в еще больше мере пошатнулась моя вера в себя. Деваться было некуда. Я находился в полном, отчаянном одиночестве. Справился я с этим состоянием (с отчаянием, не с одиночеством) лишь к концу 1970 года, когда стал ходить в кружок Глеба Семенова при Выборгском дворце культуры.



***Обложка книги: Юрий Колкер. Из песни злого не выкинешь, . [Воспоминания] Novelize Book Print Ltd. London, 2008***

Последним отголоском дворцовой жизни стало для меня выступление в доме писателя, в Шереметевском особняке на Шпалерной (тогда она была улицей Воинова). Случилось оно в воскресенье 28 марта 1971 года. Это был один из грудининских вечеров поэзии и музыки (в качестве музыкантов должны были выступать пианисты Нина Лозовская и Леонид Спивак). О том, что я включен в список выступающих, я узнал совершенно случайно, за два дня до выступления. В кружке Семенова мне показали отпечатанную программку. Грудинина позвонить мне забыла.

Вечера поэзии и музыки были характерным компромиссом, уловкой, приспособлением типа «и вашим, и нашим». Нельзя было устраивать «вечера поэзии» с выступлением недопоэтов, не членов союза, а в компании с недомузыкантами — можно; поэзия этим немедленно принижалась. Музыкантов выпускали между поэтами, чтобы публика не разбежалась. Что участвовали музыканты не первого разбора, следовало уже из их готовности выступать не на музыкальных, а на литературных подмостках. Тем самым получался капустник, выступление дилетантов. Но для пишущих, которых годами не пускали ни на какие подмостки, и это было выходом, событием.

Кроме меня в тот вечер читали стихи еще двое выходцев из *Дерзания*: Виктор Топоров и Елена Шварц. Грудининой не было, вечер вел кто-то другой. Но именно тогда я, неблагодарный ученик, с нею навсегда внутренне простился — и больше никогда ее не видел.

***июнь 2006, Лондон***

***в книге ВРЕМЯ И СЛОВО (из серии Творческие объединения Ленинграда), ИПФ Реноме, СПб, 2006 (с искажениями).***

***ЮРИЙ КОЛКЕР, 2006, ЛОНДОН***